

ТЕОРИЯ НЕОЖИДАННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ АЛЬБЕРТА ХИРШМАНА

В.П. МАКАРЕНКО

Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины,
доктор политических наук, доктор философских наук, профессор,
Южный федеральный университет

Альберт Хиршман выдвинул принципиальное положение: ни рыночная, ни централизованная, ни смешанная экономика не являются эффективными средствами решения социальных проблем. Ни один из видов экономики не может считаться образцом для подражания. Социальные проблемы невозможно решить ни религиозными, ни моральными, ни экономическими, ни политическими средствами. Главной причиной такой невозможности являются социальные институты и группы, профессионально занятые в сфере экономики, религии, морали, политики и производства идеологий. Теория неожиданных последствий требует отбрасывания (радикальный вариант) или переосмысления (умеренный вариант) всей системы главных понятий и концепций, образующих парадигму социального мышления Нового времени.

Ключевые слова: Альберт Хиршман, капитализм, Новое время, интересы, конкуренция в экономике и политике, демократия, неожиданные последствия, критика, бессознательная лояльность.

Коды классификатора JEL: P00, P10, B31.

От автора. Как всем хорошо известно, Польша была самым веселым баракком в социалистическом лагере. Диапазон переводов современных авторов в сфере философии и социальных наук на польский язык был несравненно шире и оперативнее, чем в бывшем СССР и нынешней России. Научную и художественную литературу на польском языке я читаю со времени аспирантуры. С научным и академическим сообществом Польши тоже связан давно. В 1988–1989 гг. работал визитинг-профессором Люблинского университета. Одним из итогов этой работы был перевод коллективной монографии польских политологов (см.: [8]). В 1995 г. участвовал в международной конференции, посвященной столетнему юбилею Львовско-Варшавской философской школы. Вслед за этим в 1996 году получил грант Фонда Стефана Батория Польской республики по теме «Духовное сопротивление коммунистической системе власти в странах Восточной Европы». Был на стажировке в Институте философии и социологии Польской академии наук. Выпустил сборник работ польских и российских ученых [7], а также перевел на русский язык книгу известного польского философа и логика Анджея Гжегорчика [2]. Затем получил приглашение на работу в Жешовском университете. Как обычно, много читал. В том числе книги известного современного экономиста и социолога Альберта Хиршмана. Написал об этом статью и послал ее в журнал «Социологические исследования», включая перевод работы А. Хиршмана «Рыночное общество: противоположные точки зрения» [11]. Вот здесь и возник казус.

Выдающегося современного американского ученого редакция (у меня не поинтересовавшись) назвала «профессором одного из польских университетов». Мою статью исковеркали. Правда, потом ответственные лица передо мной извинились — вначале по телефону, затем при встрече в Москве. Однако в Интернете до сих пор (прошло десять лет!..) висит текст, за который я не отвечаю [12]. Поэтому с удовольствием ответил на предложение журнала «Terza egyptotus» опубликовать оригинал статьи десятилетней давности. Любой читатель-экономист может сравнить его с вариантом, опубликованным в журнале «Социологические исследования». Такое сравнение необходимо для обсуждения общей темы о тенденциях развития социальных наук в постсоветской России.

Например, стремление к автаркии заложено в самой дисциплинарной организации науки. Университеты обладают сложной системой символических границ, разделяющих области знания и работающих в соответствии с принципом: все, что их пересекает, называется «грязным» и считается опасным для научного сообщества. Российские университеты и институты РАН ни в коем случае не являются продуктивными зонами обмена идеями и концепциями [1, с. 273–285].

До середины 1970-х гг. власть требовала от так называемых общественных наук идеологического обеспечения и подтверждения легитимности репрессивного режима, критики буржуазной идеологии, научного обоснования пропаганды и контрпропаганды, и подготовки кадров для аппарата управления и контроля. Поэтому основная масса обществоведов

(сотрудников АН и преподавателей университетов) восприняла крах СССР и последующие реформы со скрытым негативизмом и пассивным сопротивлением. Идеологический плюрализм был декларирован сверху и не касался самой институциональной организации науки. Весь корпус преподавателей остался на своих местах и переквалифицировался в социологов, политологов, психологов, политехнологов, экспертов по политическому пиару и рекламе. С тем же убогим уровнем знаний, кругом идей и сервильных установок.

По идее, развитием теории, осмыслением и применением западного опыта к российским реалиям должны заниматься академические или университетские ученые. Но этого не происходит из-за низкой квалификации самого персонала, отсутствия когнитивной культуры, критических дискуссий и просто незнания языков и литературы. Прежняя функциональная роль общественных наук не потеряла полностью свое значение. Понятие академической автономии в большинстве голов современных обществоведов пока не возникло. Они по-прежнему готовы обслуживать власть. Верноподданнические установки практически полностью парализуют познавательные интенции в социальных науках. Философский и исторический факультеты в МГУ, Институт философии РАН превращаются в прибежище захолустного антисциентизма, имперской геополитики, религиозного национализма. Зато число докторов в сфере социально-политических наук увеличилось в 1990-е гг. на 26%.

Короче говоря, социальные науки в основном занимаются консервативной защитой распавшегося советского порядка и его идеологических постулатов. Образовательные учреждения являются не генератором новых идей и концепций, а системой консервации старого знания и идеологических предрассудков, средством блокировки процессов модернизации [3, с. 314–339].

Сопоставляя перечисленные общие тенденции в социальных науках и ситуацию с первой публикацией моей статьи об Альберте Хиршмане, читатели-экономисты могут поразмыслить о мере обскурантизма в научных журналах России, в том числе по экономике. Думаю, мой текст поможет осознать и проблему обоснования нынешней отечественной экономической науки, включая степень ее холуйства. С удовольствием приму участие в дискуссии на эту тему, если редакция «Terra economicus» ее иницирует.

Введение

После распада СССР и краха «мировой системы социализма» генезис, функционирование и перспективы капитализма опять стали главной темой политических дебатов и академических дискуссий. В частности, теоретико-социологические аспекты проблемы обсуждались на одном из «круглых столов» журнала «Социологические исследования» [4]. Дискуссия сконцентрировалась вокруг доклада Ю.Н. Давыдова. Его позицию можно свести к следующим основным положениям.

Генезис термина «капитализм» связан со взглядами мелкобуржуазных социологов середины XIX века. Он означал определенную экономическую систему. В марксизме «капитализм» всегда был не экономическим понятием, а мировоззренческой категорией. Эта категория на протяжении второй половины XIX в. отождествлялась с понятием «современности». Такое отождествление было типично как для радикалов (социалистов и коммунистов), так и для либералов. Ю.Н. Давыдов полагает, что взгляды либералов более продуктивны в теоретическом отношении. Например, М. Вебер был национал-либералом по своим политическим ориентациям. И на рубеже XIX–XX вв. он предложил разделить капитализм на «архаичный» и «современный». Только второй из идеальных типов капитализма связан с генезисом множества факторов, определивших культурно-историческую уникальность европейского капитализма.

Различие между указанными типами капитализма существовало на протяжении двух третей XX в. Однако в 1970-е гг. снова произошло отождествление капитализма и современности. Понятие капитализма опять выполняет мировоззренческую роль. Ю.Н. Давыдов с этой тенденцией не согласен. Со ссылкой на труды Ф. Броделя он трактует нынешний европейский капитализм как «паразитический нарост» на отношениях обмена. Эта болезнь присуща капитализму в той степени, в которой нарушаются правила эквивалентного обмена. В Европе давно существуют слои «честных капиталистов» и «мошеннических утилизаторов». Последние всегда «деформировали» позитивные результаты спонтанного развития рыночной экономики.

Ю.Н. Давыдов считает, что руководство России при выработке программы социально-экономических преобразований заимствовало опыт европейских мошенников. Поэтому в стране сегодня господствует дикий, разбойничий, авантюристический, торговоростовщический капитализм. В нем можно обнаружить все признаки «архаичного» капитализма. Поэтому для оценки ситуации в современной России Веберовская концепция капитализма более продуктивна, нежели взгляды Маркса и современных левых теоретиков.

Позиция Ю.Н. Давыдова изложена в многочисленных публикациях. За последние годы она стала популярной в социальной науке и публицистике. Кстатi, все участники «круглого стола» поддержали идею о «современном» или «нормальном» капитализме. Правда, из нее следуют противоречивые выводы.

С одной стороны, в России никогда не было и нет до сих пор «нормального» капитализма. Все участники дискуссии согласны с тем, что заимствованные на Западе «образцы» социально-экономического развития никогда ни к чему хорошему не приводили. С другой стороны, в современном мире вмешательство государства в экономику является «нормой». А Россия здесь давно чемпион...

Точка зрения Ю.Н. Давыдова порождает больше вопросов, чем предлагает ответов и аргументов. Здесь меня интересует единственный вопрос: существуют ли в современной социальной науке концепции, позволяющие дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым могут (или должны) сравниваться все остальные? Этот вопрос разбит на несколько соподчиненных проблем: можно ли концепцию М. Вебера считать продуктивной при оценке социально-экономических трансформаций? Являются ли интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского капитализма, наиболее надежной формой таких трансформаций?

Реальная проблема и ложная дилемма

В одной из своих работ я рассматривал теорию неожиданных последствий при обсуждении вопроса о связи групповых интересов с властно-управленческими процессами [6]. Однако диапазон этой теории значительно шире. Б.Г. Капустин называет «блестящими и глубокими» работы А. Хиршмана, посвященные проблеме становления рыночной экономики [5, с. 52]. Но эти работы в социальных науках России остаются практически неизвестными. Я попытаюсь восполнить этот пробел.

А. Хиршман развивает свою концепцию в противовес главным направлениям социальной мысли Нового времени. Он обосновал принципиальное положение: ни рыночная, ни централизованная, ни смешанная экономика не являются эффективными средствами решения социальных проблем. Ни один из видов экономики не может считаться образцом для подражания.

Однако в массе интеллектуальной продукции, в практической политике и публицистике господствуют противоположные подходы. Здесь можно напомнить полемику между «купцами и кавалеристами» (А. Стреляный) или «идеалами и интересами» (А. Нуйкин) в начале «перестройки» в СССР. В сегодняшней России тоже существуют адепты рыночной, управляемой сверху и смешанной экономики. Этот факт свидетельствует о кризисе всей системы социального знания. Социальные науки в целом пока не в состоянии описать губительные последствия развития экономики в любых социальных системах — капиталистических, социалистических, смешанных. Анализ таких последствий и определяет содержание исследований А. Хиршмана.

Не менее того в социальном знании распространено противопоставление Вебера и Маркса. Оно приобрело статус стереотипа. Действительно, эти мыслители различаются между собой в оценке относительного значения экономических и внешнеэкономических факторов. Но есть и моменты сходства позиций Маркса и Вебера:

- ◆ анализ генезиса капитализма и рождения его духа как борьбы с прежними идеалами и социальными отношениями;
- ◆ общее убеждение в коренной противоположности между «традицией» и «современностью»; для обоснования данной противоположности Маркс создал теорию общественно-экономических формаций, а Вебер — концепцию идеальных типов экономики, социальной структуры, господства и образов жизни;
- ◆ описание социальных изменений (в том числе генезиса и функционирования капитализма) в категориях рождения новой социальной системы;
- ◆ убеждение в том, что новые этосы или идеологии возникают более или менее параллельно процессу упадка прежней системы отношений.

Указанные гносеологические и мировоззренческие установки присущи как Марксу, так и Веберу. В результате ни тот ни другой не обращали внимания на способы воспроизводства старого в новом или рассматривали эту проблему как второстепенную.

А. Хиршман ставит перед социальным знанием более сложную задачу — выявить и описать процессы становления и изменения идеологий как длительный эндогенетический процесс, повлиявший на субординацию всех (внешних и внутренних) факторов при генезисе новой социальной системы. Для этого надо установить последовательность взаимопереплетения идей, принадлежащих к совершенно противоположным идеологиям — либеральной, консервативной, социалистической. Речь идет о построении таких теорий экономики, общества, политики, идеологии и культуры, которые были бы свободны от всех (или хотя бы главных) исторических форм, идеалов и институтов, типичных для идеологий Нового времени.

Однако ни одна школа социальной мысли XX в. этого сделать не смогла. Нынешнее поколение ученых во всех сферах социальных знаний все еще движется в кильватере духовных вождей, создавших главные идеологии современности. А сами вожди обычно не осознают или равнодушны к проблеме непредвиденных последствий собственной системы взглядов. Если бы такие следствия были известны заранее, не исключено, что Локк и Бентам отказались бы от либерализма и утилитаризма, Берк и Токвиль — от консерватизма, а Маркс — от социализма.

Почему же такое осознание невозможно по определению? Потому что для всех идеологий Нового времени отношение между идеями (идеалами) и интересами было и остается по сей день центральной проблемой социального знания и практической политики. Акцент на идеи или интересы породил целую гамму теорий. В любой из них связь между идеями и интересами трактовалась либо как отношение детерминации (прямой или обратной), либо как отношение констелляции. Ни одно из направлений социальной мысли даже не пыталось целиком отбросить данную альтернативу. А ее идейные предпосылки пока еще изучены недостаточно. А. Хиршман прослеживает специфическую «логику» становления данных предпосылок.

В докапиталистических обществах был наиболее распространен героический этос (с мотивом и идеалом славы). Затем его заменил буржуазный этос со всеми добродетелями протестантской этики. В какой же момент времени торгово-промышленная деятельность начала рассматриваться как занятие, достойное человека? Ведь на протяжении более тысячи лет — т.е. в период идейного оформления, институционализации и распространения христианства — в торговле и промышленности видели воплощение пороков жадности, скупости и жестокости. Затем вдруг торгово-промышленной деятельности начали приписывать положительные свойства. Причем, эта модификация не заключалась в упадке традиционных ценностей: «Критика героического этоса нигде не сопровождалась пропагандой нового буржуазного этоса» [10, s. 23]. Исторические, психологические и культурные причины столь неожиданного изменения оценок до сих пор являются предметом дискуссии.

С чего же все началось? С попыток создать новую теорию государства. Она должна была усовершенствовать искусство политического управления в рамках существующего порядка. Макиавелли заложил основы этой теории. Он не пытался создать новый этический кодекс. А предложил рассматривать человека таким, каков он есть на самом деле. Люди руководствуются страстями, а не верой и не разумом. Это порождает бесконечную цепь жестокостей, из которых и состоит человеческая история. Требования христианской морали, включая угрозу осуждения на вечные муки, ничуть не улучшили человеческую природу. Значит, надо найти более эффективные средства для совершенствования людей и управления обществом. Начался интенсивный поиск средств, образующих альтернативу христианской морали.

В этом контексте было сформулировано три рецепта:

- ◆ применять насилие;
- ◆ сдерживать страсти путем убеждения;
- ◆ использовать страсти для достижения «общего блага».

Эти рецепты были преобразованы в проекты социального развития. Они существуют до сих пор как наиболее распространенные варианты идеологии, социальной теории и политики, порождая бесчисленные комбинации.

Первые два средства были известны издавна и новизной не обладали. Третье привело к повороту всей ориентации социальной мысли. Да, жадность и своекорыстие — главные человеческие страсти, но на их основе может быть построен справедливый социальный порядок. Главный аргумент для доказательства этого положения сформулировал Мандевиль. Божественное провидение использует человеческие страсти для обеспечения общего блага и потому надежды на лучшую жизнь терять не следует!

Первоначально слова «страсти» и «жадность» были нагружены отрицательным смыслом. Постепенная эволюция языка привела к тому, что они были заменены нейтральными терминами «польза» и «интерес». Тогда как идея о возможности использования страстей для достижения общего блага стала главным элементом либерализма и парадигмой политической экономики. Если вспомнить Н. Лескова, эта «сиянс-госпожа» сразу стала претендовать на статус «главной» социальной науки.

Одновременно указанная идея повлияла на выработку представления о закономерном характере социальных процессов. На его основе были созданы гегелевская, марксистская и позитивистская концепции социально-экономических закономерностей. Все они восходят к метафоре «хитрость разума». Эта метафора выражала убеждение: хотя люди живут страстями, на самом деле страсти служат достижению некой высшей общечеловеческой цели, которая непостижима для индивидуального сознания. Метафора «хитрость разума» введена в социальную философию Вико и Гердером, а окончательную легитимизацию получила в философии истории и философии права Гегеля. Немецкий ученый колпак положительно оценил страсти, поскольку в них непосредственно проявляется и воплощается «хитрость разума»...

Короче говоря, модификация моральной оценки страстей с отрицательной на положительную предшествовала становлению социальной теории. Затем происходила легитимизация страстей как предмета теоретического анализа.

Предполагалось, что все люди руководствуются тремя главными страстями — эгоизмом, жаждой власти и богатства. Эти страсти противостоят вере (условиям христианского спасения) и разуму. Они порождают войну, голод, эпидемии — три главных несчастья человеческого рода. Одновременно страсти свирепы по отношению друг к другу. В целях их теоретической легитимизации были обоснованы идеи о *взаимопожирании* (Ф. Бекон и Спиноза) и *равновесии* (Юм) страстей: «Мысль об управлении социальным прогрессом посредством продуманного установления одной страсти против другой стала распространенным занятием интеллектуалов XVIII века» [10, s. 34].

В XVII в. идея взаимопожирания страстей вытекала из общего пессимистического взгляда на человеческую природу и убеждения в том, что страсти опасны и деструктивны. В XVIII в. произошла полная реабилитация страстей. Она выражала оптимистические представления (прежде всего французских материалистов) о возможности «улучшения и исправления» человеческой природы. Гельвеций первым снабдил термин «интерес» положительным смыслом. Он обозначил этим термином только те страсти, которым приписывались уравнивающие функции.

Таким образом, история социальной теории есть процесс превращения моральных оценок в онтологические основы и гносеологические принципы социального знания. Отсюда вытекает тотальная аберрация мышления, которая еще далеко не закончилась.

«Отцы-основатели» США и вожди Французской революции пали первыми жертвами преобразования моральных оценок в политические постулаты. Те и другие начали использовать идею равновесия страстей как идеологическое оружие для обоснования и практической реализации принципов разделения власти и социального договора. Американские демократы и французские революционеры полагали, что оба института не задевают человеческую природу и являются универсальными свойствами общества. На самом деле в основании принципа разделения властей и теории социального договора лежит представление о животной природе человека.

«Примечательно, — пишет А. Хиршман, — что при обосновании принципа разделения власти эта идея была переодета в другую одежду. Сравнительно новая мысль о контроле властей путем их взаимного сдерживания и уравнивания стала убедительной благодаря представлению ее в форме общеизвестного и общепринятого принципа равновесия страстей» [10, s. 37]. Иначе говоря, практика демократического конституционализма и революционного преобразования общества опираются на одни и те же теоретические основания.

Теория социального договора стала элементом достижения равновесия. Гоббс во всех своих сочинениях лишь один раз сослался на равновесие страстей. Без этой ссылки он не мог сформулировать теоретическое обоснование государства. Причем такого, в котором раз и навсегда решены все проблемы, вытекающие из человеческих страстей. Однако большинство либералов и демократов не замечают собственной непоследовательности и применяют указанную стратегию постоянно. Она является результатом еще одной идеологической аберрации — противопоставления интересов и страстей. На этих иллюзиях — разделения власти в социальном договоре — до сих пор держится вся теория и практика демократии и связанная с нею парадигма социальной мысли Нового времени.

Природа указанных иллюзий состоит в том, что интересы начали отождествляться с материальной выгодой и пользой индивидов и групп. Этот смысл до сих пор является главным в повседневной жизни, политическом языке и словаре социальных наук. На протяжении XIX–XX вв. выражения «государственные», «классовые», «национальные», «групповые» и тому подобные интересы стали общепринятыми и уже не вызывают никаких возражений. Однако вплоть до XVII в. под интересом понималась совокупность человеческих намерений и связанных с ними размышлений. На протяжении последних 300 лет происходило сужение данного смысла с одновременной универсализацией единственного мотива человеческой деятельности — стремления к материальной выгоде и пользе.

В рамках данного процесса А. Хиршман выделяет две тенденции.

Первая восходит к Макиавелли и связана с отождествлением интересов с «государственным разумом» (принципами существования государства): «Эти понятия должны были вести борьбу на два фронта. С одной стороны, в них явно декларировалась независимость от правил и требований христианской морали, образующих основание политической философии до Макиавелли. С другой стороны, они должны были определить рациональную волю, не замутненную страстями и ежеминутными порывами. Именно такая воля становилась для Князя путеводителем» [10, s. 39]. Однако доктрина Макиавелли ограничивала властвующих лиц ничуть не меньше, чем прежняя христианская мораль.

Властвующие обязаны были доказывать, что все их поведение определяется исключительно «высшими государственными соображениями», свободными от личных страстей, произвола, династической политики, комбинаций политической игры и т.п. Но никто из людей, стоящих у кормила власти, не собирался меняться в соответствии с доктриной. Поэтому отождествление интересов с «государственным разумом» вскоре обнаружило свою бесплодность: «Если традици-

онные христианские стандарты добродетельного поведения были труднодостижимыми, то не менее трудно было определить интерес» [10, s. 40]. Тем самым использование понятия «интерес» для обозначения властвующих лиц и структур государства (класса, нации, группы, вероисповедной общности и т.д.) становилось крайне размытым и могло обозначать любое случайное содержание. *Но этот случайный произвол теперь выступал в маске необходимости и приобрел «теоретический» статус. Данная традиция существует до сих пор в социальной и политической практике и теории.*

Вторая тенденция заключалась в отождествлении интересов с поведением индивидов и социальных групп: «Связь эгоизма и расчета стала квинтэссенцией поведения в соответствии с собственным интересом. Она показалась многообещающей в дебатах об искусстве управления» [10, s. 41]. В начале XVII в. концепция интереса определялась в контексте династической внешней политики. Но под влиянием революции и гражданской войны в Англии эта концепция начала использоваться для идентификации проблем внутренней политики. Они определялись отношениями между вероисповедными группами пресвитериан, католиков, квакеров и т.д. После стабилизации политической ситуации и установлении религиозной толерантности под интересом начали понимать стремление «делать деньги». Оно стало эквивалентом всеобщего интереса. А. Смит придал этому понятию теоретическое содержание, полагая улучшение благосостояния главным мотивом поведения людей.

Аналогичный процесс шел во Франции. Здесь исходный смысл интересов определялся вопросом Макиавелли: что требуется для роста влияния, власти и богатства государства? По стандартам героического эгоса для этого надо иметь честь и славу. Теперь социальный и моральный смысл интересов начал заменяться материальной выгодой. Первоначально такой мотив поведения был типичен для евреев-ростовщиков. Под влиянием данной социально-вероисповедной группы материальные интересы начали считаться универсальным мотивом поведения. Тем более что у большинства простых людей не было никаких иных доказательств достойного существования, кроме материального благополучия.

В результате указанных процессов внимание возникающей социальной теории начало концентрироваться не на поведении властвующих лиц, а на поведении подвластных. Так возник еще один узел для связи социальной науки с произволом властвующих. Эта традиция тоже сохраняется вплоть до настоящего времени.

Интерес как новая парадигма социальной мысли

А. Хиршман показывает, что история понятия «интерес» парадоксальна: сужение смысла понятия шло параллельно с универсализацией его одной стороны.

Первоначально интерес означал способность человека рационально, расчетливо и дисциплинированно управлять собственным эгоизмом, жадной власти, богатства. Так понятий интерес противопоставлялся страстям. С помощью интереса в поведение людей вводились элементы расчета и предусмотрительности. Но в результате противопоставления возникло убеждение: одну группу страстей (жадность, алчность, скупость, своекорыстие, любовь к деньгам) можно использовать для усмирения других страстей (тщеславия, плотских и властных желаний). Неожиданное следствие заключалось в том, что этот смысл интереса соответствовал традиционным ценностям. Отсюда вытекало: люди (человеческая природа) не обязаны меняться ни по религиозным, ни по рационалистическим рецептам.

Следовательно, любые ссылки на любые интересы в последующем развитии социальной и политической мысли и практики содержат в себе значительную долю традиционализма и консерватизма. Хотя этот момент обычно не осознается ни либеральными, ни социалистическими апологетами интересов.

Так была создана важная интеллектуальная предпосылка для связи идеи равновесия страстей с идеей их неизменности. Теперь эта неизменность выступала под прикрытием интересов. Обе эти идеи восходят к Макиавелли. Но конечный результат заставил бы его перевернуться в гробу: жадность становилась главной и привилегированной страстью, на которую к тому же возлагалась задача обуздывать другие страсти! И этот противоположный и ядовитый симбиоз приобретал статус «вклада» в искусство управления государством и социальное знание...

Раньше алчность оценивалась отрицательно. Теперь «делание денег» было названо интересом. А само понятие интереса стало претендовать на оценочную нейтральность, объективность и теоретический статус. Однако в основе столь «нейтрального теоретизирования» лежит положительная оценка самой мерзкой человеческой страсти. К тому же подобная aberrация связывалась с надеждой на возможность научного руководства обществом. Эта возможность была первоначально реализована в просвещенном абсолютизме. *В его основе как системы политического устройства лежит самое грязное своекорыстие.* Зато теперь оно могло прикрываться соображениями о «государственных интересах».

Интересы стали новой парадигмой социальной философии и политики. В конце XVII в. максима «Интерес не подведет» была преобразована в теоретический постулат «Миром правят интересы». В первом случае имелась в виду способность рационально управлять страстями. Во втором — одна страсть становилась господствующей. Никто вначале не вдумывался в эти тонкости. Понятие интереса казалось самим собой понятным. Никто не пытался дать строгое определение интересов и выяснить их отношение к страстям и разуму.

Со времен Платона категории страстей и разума доминировали при анализе мотивов человеческого поведения. Однако исторический опыт показал, что страсти деструктивны, а разум бессилён. Вера тоже не смогла исправить человечество. Такие результаты делали весьма мрачной перспективу существования человеческого рода. Но большинство людей отличаются легкомыслием и не склонны задумываться о трагизме собственного существования. А большинство политиков и государственных мужей не желают учиться у Марка Аврелия — единственного философа на троне.

И европейские интеллектуалы в очередной раз пошли на поводу у большинства. Они умудрились «прописать» интересы (с указанной модификацией) между страстями и разумом. Эта процедура базировалась на воспроизводстве традиционной христианской ценности Надежды. Правда теперь Надежда выступила в наряде социальной теории. Теория обещала: жить станет лучше и веселей, если люди будут руководствоваться интересами. Философы предпочли оптимистическое обещание беспощадному анализу мотивов человеческого поведения, из которых вытекали и вытекают до сих пор убийственные перспективы. *Почти никто из мыслителей не желал создать такую социальную философию и теорию, в которых бы содержалось еще большее осуждение человека по сравнению с христианской религией. Речь идет о том мотиве христианства, в котором содержится абсолютное и безусловное отбрасывание мира и обвинение человеческого рода.*

Интерес стал новой гибридной и противоестественной формой человеческого поведения. И ее начали считать свободной от разрушительных страстей и бессильного разума. Прежде жадность, пиетет перед деньгами и материальным благополучием вообще считались свойством рабов, евреев, лакеев и простонарождения. Теперь из этой страсти сделали залог «светлого будущего»: «Доктрина интереса в данное время была воспринята как действительный завет спасения» [10, s. 47].

Правда и в XVII в. более пронзительные философы и просто умудренные жизнью люди не дали себя увлечь новой доктриной. Одни (Боссюэ) отвергли ее целиком, другие (Спиноза) сомневались в параллелизме страстей и интересов, понятых как «разумный эгоизм», третьи (маркиз Галифакс) полагали, что люди не в состоянии распознать собственные интересы. Однако оптимистические ожидания победили трезвую мысль. Надежда на спасительную роль интересов стала первой и главной интеллектуальной модой нового времени. И социальная мысль и политика до сих пор находятся под ее гипнозом!

Потребовалось совсем немного времени для горького похмелья. В XVIII в. интересы подверглись сокрушительной критике. А страсти были реабилитированы как потенциально положительная сила. Одни доказывали, что принцип «Люди руководствуются только интересами» полагает мир хуже, чем он есть на самом деле. Другие выдвигали принцип «Люди живут страстями». Мир, в котором господствуют страсти, тем самым полагался лучшим по сравнению с миром, в котором доминируют интересы. Действительно, едва интерес был сведен к своекорыстию, мир потерял привлекательность. Постулат «Интересы правят миром» превращался в жалобу или обвинение мира, в котором, кроме цинизма, ничего не существует. Поэтому Юм развил концепцию, согласно которой страсти могут улучшить мир, управляемый интересами. Реабилитация страстей соответствовала оптимистическим идеалам Просвещения. Оно окончательно отбросило типичный для Возрождения трагичный образ человека и мира.

Надо учитывать, что сами термины «оптимизм» и «пессимизм» появились в философском и социальном словаре лишь в XVIII в. В этом контексте использование данных терминов для обозначения любого поведения, взгляда на мир или продукта духовного творчества означает либо косвенное согласие со всей цепью описанных преобразований, либо элементарное бессмыслие.

Короче говоря, вся мысль Нового времени кружилась вокруг нормативных постулатов, связывая с ними познавательные концепции. Вначале страсти оценивались отрицательно, а интерес положительно. Затем произошла перестановка оценок. Страсти вошли в симбиоз с интересами и начали оцениваться положительно. С таким симбиозом связано становление политической экономии и, опосредованно, всей системы социальных наук. Эта связь и определила все главные просчеты и поражения социальной мысли на протяжении последних двухсот лет. Она до сих пор не смогла освободиться от морально-мировоззренческих постулатов.

Реабилитация страстей ничего не добавляла в их традиционное содержание. Зато максима «Интересы правят миром» вызвала значительное интеллектуальное оживление: наконец-то найдена реалистическая основа для жизнеспособного социального строя!

Интересам начали приписывать достоинства предвидимости, неизменности и постоянства. То есть как раз те качества, которые раньше фиксировались только в природном мире. Предполагалось, что если человек руководствуется лишь собственными материальными интересами, то не только ему, но и другим людям будет хорошо. А если действия мотивированы интересами, то их можно предвидеть подобно тому, как нетрудно предсказать поступки добродетельного человека. Тем самым жадный и алчный человек превращался в идеал истинного христианина! Облегчалась и задача властвующих: «По сравнению с теорией экономики теория политики раньше обнаружила шансы взаимной пользы, достигаемой с помощью интереса» [10, s. 51]. Однако и политическая экономия вскоре отправилась в лакейскую Каноссу!

Дело в том, что сфера международной политики была и остается неподконтрольной ни христианским принципам, ни диктату разума. В этой сфере обычно выступают взаимоисключающие интересы. Каждое государство стремится к расширению собственного влияния, власти и богатства. В этом смысле ни одно из государств не является самостоятельным: «Интерес данного государства является зеркальным отражением интересов его главного противника» [10, s. 52]. Непредвидимость и непредсказуемость — существенные компоненты международной политики. В ней и воплощаются самые зверские человеческие страсти. Предложить что-либо новое в этой сфере философия не смогла. Поэтому она облегчила себе задачу.

Представление о равновесии страстей и интересов было перенесено в сферу внутренних конфликтов государства. Оно положило начало живой до сих пор концепции «равновесия сил». Наибольшую пользу от предвидимого поведения начали усматривать в экономической деятельности. Локк обосновал идею о том, что неопределенность поведения индивидов и групп есть главный внутренний враг государства. И этот враг должен быть побежден любой ценой!

В результате всякое непостоянство стало рассматриваться как важнейшая помеха для создания такого социального строя, в котором решены главные моральные, социальные и политические проблемы. Тем самым в либерализме были заложены не теоретические основания свободы, а обоснование всеобщей регламентации социальных процессов. С этой регламентацией, в свою очередь, связан рост значения репрессивных институтов в обществе. Другие направления социальной мысли и практики — социализм и консерватизм — без всякого труда могли заимствовать эту идею, прикрывая ее лозунгом «свободы».

Так завязывались узлы между политикой и экономикой. Интерес отождествлялся с любовью к деньгам как вполне легальной и главной страстью. Причем эта страсть оценивалась положительно лишь в той степени, в которой накопление денег становилось самостоятельной целью, а не средством «красивой жизни». Данный момент обстоятельно проанализирован М. Вебером. А Хиршман подхватывает эстафету, но обращает внимание на парадокс: раньше алчность квалифицировалась как наиболее опасная страсть; теперь она становилась добродетелью, поскольку связывалась с постоянством поведения индивидов. «Для того чтобы столь радикальное изменение оценки стало убедительным, надо было снабдить алчность безвредностью» [10, s. 56]. И эту задачу тоже выполнили философы!

Превращение материальных интересов в постоянные страсти вело к тому, что они начали сметать все на своем пути. Сто лет спустя осознание этого факта нашло наиболее полное выражение в «Манифесте Коммунистической партии». Как известно, становление капиталистического общества сопровождалось всеобщей коррупцией. Деньги начали рассматриваться как наиболее сильная социальная связь. Она не шла ни в какое сравнение с кровнородственными отношениями, честью, дружбой, любовью. Представление о деньгах как сильнейшей социальной связи было и остается до сих пор самой распространенной и опасной формой идеологии. К тому же она не нуждается в доказательстве именно в силу своей повсеместности. Никакая политика, даже самая революционная, не смогла сломить это убеждение. Большинство политиков и теоретиков даже не ставили перед собой такой задачи. В результате развитие общества и социального знания пошло по совершенно другому пути.

Стремление к удовлетворению собственных материальных интересов было признано множеством мыслителей невинным и безвредным занятием. Однако это признание — непредвиденное следствие длительного господства идеалов аристократии. Она всегда питала презрение к ростовщикам, купцам и промышленникам. Это — грязные, серые и неинтересные люди, социальные отбросы и маргиналы. Аристократическое презрение породило убеждение в том, что торговая-промышленная деятельность лежит за пределами добра и зла, является этически нейтральной и потому не может играть важную социальную роль. «В определенном смысле победа капитализма, — пишет А. Хиршман, — как и победа множества современных тиранов, многим обязана всеобщему презрению к купцам и промышленникам. Это презрение не способствовало серьезному отношению к данной группе и не позволяло поверить в ее способность к великим делам и свершениям» [10, s. 58].

Для обозначения парадоксального синтеза презрения и невинности был изобретен специальный термин «*douceur*». Он означал мягкость, покой, комфорт и наслаждение — в отличие от непостоянства, стремительности, порыва и беспокойства, порождаемых другими страстями. Предполагалось, что погоня за деньгами и торговля смягчают и облагораживают нравы лю-

дей. Этот смысл и вошел в выражение «благородные народы», которые противопоставлялись «диким и варварским народам». Указанные метафоры стали первой попыткой осознания дихотомии, которая в XIX–XX вв. приобрела вид противоположности между «историческими» и «неисторическими», «развитыми» и «отсталыми» нациями. Эта противоположность сохраняется по сей день в различных вариантах философии истории, теориях социального развития, модернизации и цивилизации.

Корни указанного термина связаны с некоммерческим значением коммерции. Оно означало не только торговлю, но и приятную беседу и другие формы любезного (обходительного) общения людей, в том числе между мужчиной и женщиной. Но даже филологический смысл выражения «*doix-commerce*» поражает апологетикой и несоответствием действительности. Облагораживание коммерции происходило в XVIII в. На этот период как раз приходится пик коррупции и работорговли. Да и обычная торговля была крайне жестоким, рискованным и опасным предприятием. Иначе говоря, все аргументы в пользу торговли содержат идеологические коннотации.

И все же в конечном счете «делание денег» начало рассматриваться как стабильная и спокойная страсть. Она переплелась с достижением частных интересов. Мирная жажда обогащения (в отличие от жадности) требовала действий с опорой на разум. Такое понимание интересов утвердилось в XVII в. Расчетливая погоня за деньгами осознавалась как сильная, но спокойная страсть, способная победить бурные, но слабые страсти. Своекорыстие начало противопоставляться стремлению к наслаждениям. Особый акцент на этом сделал Юм: «Ведущий философ эпохи прославлял капитализм потому, что он должен был оживить полезные склонности людей за счет вредных и подавить, а то и уничтожить, деструктивные и губительные свойства человеческой природы» [10, s. 63].

Лишь только после осуществления указанных семантических и идеологических процедур начала культивироваться надежда на то, что развитие экономики позволит решить все проблемы и улучшить социальный и политический строй. Таким образом, возникающая социальная наука так и не смогла освободиться от христианского принципа Надежды. Правда теперь он выступал в виде экономикоцентризма — наиболее распространенной иллюзии последних двухсот лет.

Можно ли с помощью экономики улучшить социальный строй?

А. Хиршман детально прослеживает основные звенья этого процесса. Зеленый свет для погони за деньгами — продукт длительного развития европейской мысли. Тогда как принцип «Интересы противостоят страстям» остается до сих пор малоизвестным и неизученным. Существует несколько причин указанного «белого пятна» в социальном знании.

Прежде всего данный принцип относится к так называемому «неосознанному знанию». К. Поланьи определял таким образом комплекс убеждений, настолько очевидных для данной группы, что они никогда не выражаются полностью и систематически. Кроме того, «белое пятно» возникло в результате развития экономической мысли. В частности, А. Смит пренебрег различием между интересами и страстями. Он подчеркивал положительные, а не отрицательные политические следствия экономической деятельности. Однако теория А. Смита лишь завершила длительный процесс. Она сама стала неожиданным следствием надежды на то, что с помощью политики (искусства управления государством) можно решить социальные проблемы.

В трудах Монтескье, Д. Стюарта и Д. Миллара начала формироваться противоположная тенденция.

Монтескье сформулировал и обосновал положение о позитивном влиянии торговли на политику и культуру. По его мнению, демократия есть положительное следствие развития торговли. Как известно, торговля длительное время осуждалась церковью и потому стала занятием евреев. А бедные евреи долгое время страдали от преследований, насилия и эксплуатации со стороны королей и аристократии. В этой юдоли они находились до тех пор, пока не изобрели вексель — «невидимые деньги».

Однако главный аргумент Монтескье в пользу торговли и промышленности был типично верноподданническим. По его мнению, торговля и промышленность способны предотвратить «злые умыслы» и государственные перевороты, которыми всегда отличалась и занималась аристократия. Поэтому французский мыслитель поставил интересы выше страстей и разума.

Он также первым сформулировал положение: прямая критика политиков за несоответствие их действий морали и разуму не имеет смысла. Она всех убеждает, но никого не исправляет. Лучше «пойти другим путем» — показывать бесполезность страстей и намерений аристократии и властей. Иначе говоря, Монтескье придал принципу пользы политическое измерение.

Правда, взгляды Монтескье не отличались последовательностью. С одной стороны, он положительно оценивал развитие оборота векселей — «невидимого имущества». С другой стороны, опасался роста значения государственных ценных бумаг. Дело в том, что сразу же после изобретения векселя государственные займы и долги получили повсеместное распространение. И пока ни одно государство не собирается от них отказываться. Для борь-

бы с этим процессом Монтескье предлагал использовать принцип разделения властей и арбитража. Он питал иллюзию, что указанные средства положительно повлияют на международные отношения и увеличат шансы мира.

Общий вывод теории Монтескье поражает бездоказательностью: с одной стороны, торговля позволяет предотвращать гражданские войны, но, с другой стороны, способствует поддержанию военной морали в отношениях между государствами...

Взгляды Д. Стюарта были не менее противоречивыми. Он сформулировал ложную альтернативу в виде диалектического софизма: рост торговли и богатства увеличивает влияние политиков на поведение всех граждан и в то же время уменьшает сферу политического произвола в государственной власти в целом. Эта альтернатива повлияла на всю последующую политическую, экономическую и социальную мысль и практику. От нее до сих пор не могут освободиться ни либералы, ни социалисты, ни консерваторы. Подобный ход мысли, как показала последующая история, ведет в теоретические, политические и экономические тупики.

Для выхода из теоретического тупика Д. Стюарт сконструировал популярное до сих пор различие между властно-политическим произволом и строгим регулированием экономики. По его мнению, произвол власти обусловлен страстями власти предрежащих. Тогда как строгое регулирование экономики приписывалось гипотетическому государственному мужу, который руководствуется исключительно общим благом. Развитие экономики устанавливает пределы для произвола и увеличивает потребность во вмешательстве власти в социальные процессы. Такое вмешательство и должно гарантировать устойчивое развитие экономики.

Для доказательства этого софизма Д. Стюарт сравнивал экономику с часами. Мир экономики уподоблялся вселенной, которой можно управлять извне. Произвол портит, а регулирование исправляет часы. Под пером Д. Стюарта библейский Бог (создавший мир из глины) переквалифицировался в Главного Часовщика. Предполагалось, что сконструированные Богом часы могут ходить без всякой помощи со стороны людей. Правда, не всех. Для политиков и государственных аппаратов делалось исключение. Они уподоблялись часовщикам, регулирующим экономические механизмы.

Д. Миллар радикализировал этот вывод. По его мнению, государственный муж не может принимать произвольных решений, а должен непосредственно способствовать благосостоянию страны. Тем самым экономические и политические механизмы ставились во взаимосвязь. Но как гарантировать правильный ход обоих? Такую гарантию Миллар усматривал в праве на восстание. Его аргументы были не менее механистическими.

Фабричные люди живут в городах. Масса горожан действуют как машина, ход которой остановить невозможно. Рабочие постоянно совершенствуются в избранной профессии. Поэтому фабрично-городские слои меркантильно-ориентированных народов без всякого труда постигают общие интересы. Горожане обладают также возможностью контроля над государственными учреждениями и могут устранять невежественных чиновников. Поэтому любые массовые акции обладают положительным социальным смыслом. Трудящиеся массы обладают правом на восстание. Это право соответствует групповым интересам трудового народа и одновременно способствует совершенствованию конституции. Следовательно, плебейские массы выполняют рациональную и полезную функцию в экономическом процессе.

Монтескье, Д. Стюарт и Д. Миллар заложили основы первого направления, в русле которого категория интереса преобразовывалась в движущую силу экономического и политического развития.

Второе направление связано с физиократами. Они первыми потребовали ограничить оборот денег в торговле и промышленности. Главный аргумент состоит в необходимости увеличить определенность экономики. Физиократы также первыми заметили опасность того, что богатые купцы и промышленники могут применять средневековую корпоративную мораль для организации отдельных государств.

Физиократы соглашались с положением о том, что произвольная и некомпетентная политика тормозит экономический прогресс. Для предотвращения этого они сконструировали модель социального строя, в котором общие интересы тождественны индивидуальным интересам властвующих лиц. Такое тождество возможно только при абсолютной монархии.

Именно в этом контексте и была сформулирована доктрина о «гармонии интересов». Согласно данной доктрине, общее благо есть не столько результат стремления индивидов к собственной пользе, сколько следствие абсолютной власти. Идеальный политический строй может быть установлен только просвещенным монархом. Он является собственником всех средств производства и устраняет все конфликты между властью и обществом.

Таким образом, посредством указанной интерпретации интересов физиократы защищали азиатский деспотизм.

А. Смит завершил эту концепцию. Монтескье и Стюарт были заняты проблемой ограничения власти короля. А. Смита больше беспокоили невежество и произвол аристократии. Он полагал ее крах неизбежным, если только она решится использовать новые возможности потребления и улучшения материальной ситуации.

А. Смит тоже рассматривал политику как необходимую предпосылку и следствие развития экономики. В то же время он обосновывал необходимость государства не столько соображениями минимализации его функций, сколько потребностью установления рамок для произвола. Если произвол мешает экономике развиваться, то власть надо менять, а не ждать, когда она изменится сама по себе.

Отношение Смита к капитализму (особенно к принципу разделения труда) было неоднозначным. Но он первым заметил неожиданные следствия развития экономики:

- торговля способствует излишества, коррупции и общему упадку нравов;
- все страсти человека концентрируются в стремлении к наживе.

Отсюда вытекал главный вывод Смита: стремление к богатству не есть самоцель, а средство социального признания. Внеэкономические мотивы поведения не являются самостоятельными, но они направлены на укрепление экономических мотивов. Тем самым Смит отожествил интересы со страстями. Тогда как акцент на внеэкономические (моральные и политические) мотивы человеческой деятельности способствовал анализу экономического поведения в соответствии с прежней концепцией человеческой природы.

Иначе говоря, теория Смита была регрессом — возвратом к исходному состоянию понимания интересов. Это объясняется тем, что британского моралиста и экономиста интересовал «человек толпы» — обычное поведение большинства людей. Главная забота большинства — самосохранение и улучшение материальных условий жизни. Абсолютное большинство людей не в состоянии ни подчинять свое поведение рыцарскому кодексу (этой чести и славы), ни «жить страстями» (как аристократия), ни удовлетворять страсти путем размеренной и систематической погони за интересами (подобно евреям, пуританам и возникающей буржуазии), ни вообще последовательно соблюдать сказанное слово.

Неожиданное следствие теории А. Смита состояло в том, что проблемы социальной морали вообще перестали интересовать экономистов. Такое положение сохраняется до сих пор в профессиональной среде экономистов, независимо от того, каких идеологических и политических ориентации они придерживаются — либеральных, социалистических или консервативных, этатистских или социетальных. «Подход А. Смита поставил такое количество интеллектуальных проблем, — пишет А. Хиршман, — что их расшифровка и решение дали пищу многим поколениям экономистов. Как сама гипотеза, так и возникшая на ее основе теория удовлетворяли посылкам победившей парадигмы. Они были удовлетворительным обобщением и одновременно дали возможность сузить поле исследования, по которому до тех пор свободно двигалась социальная мысль. Тем самым были созданы условия для интеллектуальной специализации и профессионализма» [10, с. 94–95]. Научная специализация способствовала закреплению и воспроизводству указанных aberrаций, от которых до сих пор не может освободиться социальное знание во всем комплексе дисциплин.

Вернемся к вопросу, поставленному в начале параграфа: можно ли с помощью экономики улучшить социальный строй? На него следует ответить отрицательно. В XVIII в. возникло представление о спасительных политических последствиях развития экономики. Это представление есть иллюзия. Она остается привлекательной до сих пор, хотя история ее полностью опровергла.

В частности, сравнение экономики с часами (постоянное движение, стабильность, точность и исправность рыночных механизмов) сыграло роль ключевого аргумента при установлении множества авторитарных режимов XIX–XX вв. в Европе и во всем мире. Этот аргумент впервые был использован физиократами, а затем бесконечно повторялся. В данном контексте была также сформулирована идея о возможности «научного управления обществом» и веберовская концепция «рациональной бюрократии». Ни либералы, ни марксисты, ни консерваторы, ни просто политические прагматики так и не смогли освободиться от этих иллюзий. По сути дела, все остальные направления экономической, социальной, правовой, политической и организационно-управленческой мысли до сих пор испытывают влияние указанных иллюзий.

Например, уже у Барнава можно обнаружить противопоставление «солидарности» (племени, клана) и «торгашеского духа». Преследование материальных интересов создает потребность в социальной стабильности, но оно же может привести к противоположному следствию — стать идейным источником деспотизма. Указанная дихотомия затем была заимствована молодым Марксом, Дюркгеймом, Теннисом, Парсонсом и т.д. Правда, Маркс дополнил этот вывод. При анализе революции 1848 г. он показал, что развитие экономики и забота о материальных интересах могут как улучшать, так и ухудшать искусство управления государством. Однако Маркс полагал, что положительные следствия развития экономики предшествуют отрицательным. От этой идеи все еще не могут освободиться марксистские и постмарксистские теоретики и политики во всех странах.

Содержательные критические аргументы против всей системы описанных заблуждений были развиты Фергюсоном и Токвилем. Они исходили из констатации существующего положения вещей: у большинства людей влечение к материальным благам развивается быстрее, нежели склонность к познанию и навык практического пользования свободой. Если

большинство людей заняты лишь погоней за материальными интересами, то ловкие политические игроки могут захватить власть даже при формальной демократии. Если же народ требует от правительства только поддержания порядка для преследования материальных интересов, то он является рабом собственного материального благополучия.

Такие мотивы поведения большинства людей существуют до сих пор. При таком положении вещей вероятность появления «авторитарных личностей», стремящихся к подчинению всего народа, возрастает пропорционально степени распространения материальных интересов в обществе. Следует ли отсюда, что все политические формы современного общества (включая демократию) и весь корпус современного социального знания, стоят на песке?

Интересы «квази-стражей» современного общества

Итак, погоня за материальными интересами и превращение последних в главный и морально мотивированный стимул социального поведения ведет к неразрешимой дилемме:

любая детерминация политики экономикой лишь *увеличивает* вероятность властно-политического произвола;

одновременно такая детерминация *уменьшает* участие большинства граждан в политической жизни.

Эту дилемму не удалось обойти ни одному демократическому государству. Тогда как в государствах деспотических и авторитарных вершины властных иерархий на протяжении XIX в. по собственному произволу устанавливали сферу того, что является «полезным» и «вредным» для функционирования «деликатного часового механизма» экономики. Невозможно также отрицать очевидный факт: в современном обществе большинство людей заняты погоней за деньгами и материальным благополучием. Это правило не зависит от специфики социально-экономических систем. Одновременно оно лишь увеличивает сферу свободы для тех, кто стремится к власти ради удовлетворения собственных амбиций — или страстей в терминологии XVII–XVIII вв.

Таким образом, «хорошие» и «плохие» последствия развития экономики всегда проявляются одновременно. Отсюда вытекает необходимость отбрасывания всех концепций, признающих идею о детерминации политики экономикой (и наоборот), независимо от положительной или отрицательной оценки данной детерминации. Речь идет о целых направлениях и школах современного экономического, социологического, политического и культурно-цивилизационного анализа. Сюда попадают:

- либеральные концепции свободного рынка и открытого общества (Л. Мизес, Ф. Хайек, И. Шумпетер, М. Фридман, К. Поппер и др.);
- марксистские концепции отчуждения и борьбы классов (Г. Лукач, А. Грамши, В. Ленин);
- консервативно-аристократические концепции рессентимента и массового общества (Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет и др.);
- социологические концепции солидарности, *аномии* и *дисфункций* (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.).

Современное научное сообщество в значительной степени состоит из последователей данных концепций. Однако все аргументы, которыми пользуются последователи, против детерминации политики экономикой и государства вообще, были сформулированы П. Прудоном. Он видел в частной собственности главную гарантию от угрозы вмешательства государства в социальную жизнь. Перечисленные концепции не дают возможности противодействовать данной угрозе постоянно и ежечасно в любых обстоятельствах места и времени. Отсюда вытекает кардинальное положение: *никакого «нормального» капитализма не было и нет, а всякая связь материальных интересов с политическими (и наоборот) подозрительна по определению.*

Как же в таком случае относиться к веберовской теории капитализма, в основании которой лежит представление о констелляции материальных интересов и идей во всех сферах социальной жизни?

Вебер и его последователи интересуются прежде всего психологией и этикой поведения индивидов. На этом основании объясняются причины концентрации определенных групп на рациональной калькуляции аккумуляции денег и других капиталов. Вебер полагал капитализм непредвиденным и непреднамеренным следствием поиска индивидуального спасения. Кальвинистская доктрина предопределения преобразовалась в методические действия. Они были одухотворены целью индивидуального спасения. Средством выступили требования протестантской этики, предполагающей самоотречение. Последователи Кальвина сумели найти выход между Сциллой фатализма и Харибдой стремления к мирским благам. В этом состоит парадокс. Он свидетельствует о наличии важных, но неожиданных и не всегда реализуемых следствиях человеческой деятельности. Открытие таких следствий стало важной задачей социальных теоретиков, начиная с Вико, Мандевиля и А. Смита.

А. Хиршман предлагает всему корпусу социальных знаний двигаться по этому пути.

Значимое различие между теорией Вебера и концепцией Хиршмана состоит в ряде пунктов, из которых я отмечу лишь основные.

До сих пор социальные науки занимались анализом общества и его отдельных фрагментов. Теперь главным предметом анализа всей системы социальных наук должны стать реакции интеллектуальных, политических и чиновничьих элит на новые явления. Элиты обычно категоризируют все социальные явления и процессы на «положительные» и «отрицательные».

В частности, элиты положительно реагировали на становление и развитие капитализма, связывая с ним собственные надежды. Они считали, что погоня за деньгами удерживает человека на верном пути, сдерживает произвол и авантюризм власти во внутренней и международной политике. Эта надежда не подтвердилась.

Одновременно элиты отчаянно искали средства для коллективного спасения, предотвращения распада общества. По мере становления капитализма такой распад стал перманентной угрозой вследствие нестабильности внутреннего и внешнего социального порядка. Эта нестабильность порождается погоней за интересами и существует до сих пор. Следовательно, поиск средств коллективного спасения ни к чему не привел. Наоборот, история XX в. с ее мировыми катаклизмами дает материал для противоположного вывода.

Короче говоря, элиты хотели «и невинности соборности, и капитал приобрести». А. Хиршман предлагает соединить оба мотива при объяснении генезиса капитализма и любой формы современного общества — социалистического, смешанного и т.д. Эти мотивы определяют поведение интеллектуалов и бюрократии.

Интеллектуально-чиновничьи элиты всегда заинтересованы в поиске путей *группового спасения* (т.е. собственного воспроизводства независимо от социальных и политических преобразований) и преодоления всех преград на этом пути. Здесь они наследуют функцию религиозного клира, хотя их квалификация в Новое время существенно изменилась. Маркс назвал эту социальную группу «идеологами», Вебер писал о «литераторах», а Р. Даль называет ее «квази-стражами» (по аналогии с функцией стражей в идеальном государстве Платона). Неожиданные следствия экономического и социального развития порождаются стремлением интеллектуально-чиновничьих элит найти пути группового спасения.

Однако ни политики, ни интеллектуалы, ни бюрократия не в состоянии ни объяснить, ни преодолеть неожиданные последствия. Любые человеческие решения и действия ведут к результатам, которые в моменты принятия решения и периоды осуществления действий совершенно не предполагались. Да и сами решения и действия предпринимаются лишь потому, что политические и интеллектуально-чиновничьи элиты искренне и с полным убеждением ожидают результатов, которые никогда не появляются.

В этом и состоит главный парадокс социальной жизни: надежды большинства людей остаются в приватной сфере; надежды и иллюзорные ожидания политических и интеллектуально-чиновничьих элит возникают в моменты подготовки и принятия решений и становятся *главной причиной выхода социальной жизни из-под контроля*.

Иначе говоря, интеллектуально-чиновничьи элиты в наибольшей степени претендуют на знание социальной жизни и рациональные решения. Но они же несут главную ответственность за хаос социальной жизни. Кроме того, интеллектуально-чиновничьи элиты всегда претендуют на то, что общество надо контролировать. Их надежды приобретают социальную историю, в отличие от индивидуальных надежд большинства людей. Социальная история надежд интеллектуально-чиновничьих элит была и остается вымышленной. Но она позволяет устранить из поля зрения действительные будущие следствия принятых решений.

Стало быть, социальные науки должны ориентироваться на поиск, открытие и анализ невоплощенных следствий принятых решений. Эта задача сегодня становится даже более важной, нежели исследование неожиданных, но реальных следствий. Реальные следствия обладают статусом существования. Невоплощенные надежды и иллюзии главных факторов социальной жизни превращаются в «преходящее мгновение». А если желаемые следствия не наступают и нет никаких шансов на их появление, то о них не только стараются забыть, но и стереть все следы в памяти.

Процедура забывания — главное средство интеллектуальной самозащиты элит и легитимизации всякой новой социальной системы: «Может ли сохраниться любая социальная система с двойным сознанием, — вопрошает А. Хиршман, — если она была избрана с самым глубоким убеждением в том, что решит определенные проблемы, но одновременно никогда не в состоянии это сделать?» [10, s. 107] Социальные науки должны постоянно напоминать о том, что обычно стремятся забыть элиты.

Таким образом, факт существования современного капитализма доказывает лишь то, что это была первая в истории социальная система с «двойным сознанием». Но феномен «двойного сознания» типичен и для других социальных систем, возникших на почве капитализма. Если политики, интеллектуалы и бюрократия продолжают выполнять главные роли в социальной системе, то различие между капитализмом и социализмом (или смешанным обществом) становится *неуловимым*. Социализм лишь воплощает в жизнь всю систему описанных надежд и иллюзий, усиливая ее тысячекратно. Дело в том, что социализм заимствует у капитализма всю систему

социальных институтов и организационных структур. Они порождают не менее неожиданные следствия по сравнению с интересами.

От критики к разрыву

Как известно, большинство специалистов в сфере социальных знаний принадлежат к сторонникам рыночной экономики, регулируемой экономики или социального государства (смешанного общества, в котором снята дихотомия капитализма и социализма). А. Хиршман предлагает концепцию, которая может служить средством для того, чтобы вырваться из «заколдованного круга» современных академических дискуссий и политических дебатов. Его больше интересуют внутренние конфликты любой завершенной и институционализованной системы взглядов.

Предельно кратко позицию А. Хиршмана можно определить так: любая идеология и социальная теория порождают комплекс непредвиденных следствий, разрушающих ее собственные основания. В этом смысле нет существенных различий между либерализмом, социализмом и консерватизмом. То же самое можно сказать о социальных и политических системах, пытающихся воплотить в жизнь указанные идеологии или их гибридные формы.

Главный нерв концепции состоит в сокрушительной критике рыночной и управляемой экономики, конституционно-демократического и революционно-тоталитарного способа преобразования общества одновременно. Отсюда не следует, что А. Хиршман ищет «третий путь» по образцу неомарксистов или сторонников «самобытности», предлагающих различные варианты смешанного общества.

При оценке любых социальных процессов требуется терпимость к недостаткам общества и ошибкам социального управления. Большинство обществ до сих пор не видело «смазанного волка», поскольку обладало таким объемом благ, который превышал минимум средств к существованию. Об этом свидетельствует факт воспроизводства социального неравенства на всем протяжении человеческой истории. Отсюда не вытекает, что неравенство следует признать нормой, как предлагают консерваторы. Эта норма ничуть не нормальнее равенства. Просто в социально-исторической жизни происходит постоянное нарушение любых представлений о «гармонии», «золотой середине», «консенсусе» и т.п. Краткие и длительные периоды нарушений следует рассматривать как свидетельство социальной динамики, которая может принимать разные формы.

Государство — одна из форм социальной динамики. На протяжении всей истории ни одному государству не удалось создать такие социальные и политические механизмы, которые бы полностью предотвратили сбой социального организма. Следовательно, в таких механизмах нет и потребности. Болезнь (кризис, распад, катастрофа) есть нормальное состояние общества. Любые попытки его «оздоровления» и «совершенствования» заранее обречены на провал.

Для доказательства этого тезиса А. Хиршман приводит религиозные и светские аргументы.

Главный религиозный аргумент (в рамках христианства) состоит в квалификации всей истории человеческого рода как грехопадения. Последовательный христианин должен признать исходную испорченность человека. И не конструировать таких социальных идеалов, в которых бы заведомо испорченным людям жилось бы хорошо и комфортно. Однако большинство верующих всех религий (как и большинство неверующих) не в состоянии поступать и жить последовательно. Для обоснования непоследовательности верующих-христиан была изобретена концепция «естественных прав человека».

Эта концепция связала христианскую социальную философию с различными вариантами светского мировоззрения Нового времени. Данная концепция не удовлетворяет ни онтологическим, ни историческим, ни логическим критериям. Тем не менее она породила либеральную модель «государства всеобщего благосостояния», марксистскую модель «коммунизма», социал-демократическую модель «социального государства», христианскую модель «миллениума» и т.п.

Параллельно с формулировкой, разработкой, пропагандой и практическим воплощением всех указанных моделей наступила длительная эпоха кризисов, войн, революций, социальных и политических потрясений. Существует большой соблазн истолковать их как «ненормальное» состояние общества. Значительно больше оснований рассматривать все социальные катаклизмы как расплату за человеческую непоследовательность.

Кроме того, в периоды социальных кризисов можно уменьшать расходы ресурсов и средств, внедрять в жизнь ранее разработанные концепции и методы, испытывать пределы человеческой выносливости. Следовательно, кризисы были и остаются периодами социального творчества. Если до сих пор не удалось обеспечить социальный гомеостазис, то общество и не нуждается в абсолютно исправных механизмах. Любые попытки их создания неизбежно ведут к нормативизму в социальной теории и практике, политике и управлении.

От указанного нормативизма не свободна вся парадигма социального мышления Нового времени. Речь идет о концепциях интересов, конкуренции, демократии, патриотизма, которые конституируют современное мышление.

Об интересах уже шла речь. Действительно, для нескольких поколений людей XIX–XX вв.

кажется естественной и непреложной ссылаясь на интересы как феномены, определяющие всю сферу социальной реальности. Интересы полагаются «нормой» поведения людей. Ссылка на интересы при теоретическом осмыслении реальности и принятии политических решений сегодня попросту не нуждается в обосновании. Между тем, как было показано, в интересах и скрываются предпосылки всех индивидуальных и групповых практических и теоретических aberrаций. Их без труда можно обнаружить в губительных социальных последствиях экономического роста при капитализме, социализме и смешанных социально-экономических системах.

Одним из таких следствий является модель конкуренции. Она прилагается сегодня к любым типам социальных систем, хотя сложилась в рамках капитализма. Эта модель давно уже стала элементом манипуляции и не способствует познанию определяющих ее конфликтов.

Что же это за конфликты? А. Хиршман предлагает анализировать конкуренцию как связь и противоборство между критикой и разрывом. Индивиды могут критиковать и порывать социальные связи. В этом отношении связь критики и разрыва есть универсальный способ реакции людей на любые ухудшения деятельности любых экономических и политических институтов.

Все индивиды на протяжении жизни связаны с определенными группами и организациями в качестве членов или клиентов. Если взаимодействия людей регулируются рынком, индивиды вправе порвать связи с группами и организациями, которые не обеспечивают им надлежащий уровень доходов, благ и услуг. Реализация этого права зависит от материальных интересов людей. Критика может градуироваться от молчаливого недовольства до резкого протеста. Но в любом случае она требует непосредственного и решительного выражения взглядов. Не все индивиды на это способны. Поэтому критика в большей степени связана с политическим действием, хотя чаще высказывается при сбоях экономических механизмов.

Иначе говоря, существует несоизмеримость экономических и политических аспектов разрыва и критики. Такая несоизмеримость существует в любых социальных системах. Она выражается во всех попытках регламентировать критику и разрыв — от группового и административного давления до статей соответствующих кодексов, определяющих отношения между работодателем и рабочим, прописку, алименты, пропаганду тех или иных взглядов, государственные преступления и т.д.

Указанная несоизмеримость (или конфликт) существует как при конкуренции, так и при монополии — семейной, групповой, корпоративной, государственной, смешанной и т.д.

Конкуренция обычно выражается в соперничестве разных фирм за ресурсы, рабочую силу и клиентов. Но она может выродиться в пустую трату ресурсов и труда, если руководство организационных структур находится под постоянной критикой извне или изнутри. Поэтому всякое руководство стремится блокировать критику. Такая блокировка существует и при конкуренции. Поэтому конкуренция не может рассматриваться как норма экономических и социальных процессов.

В любых социальных системах индивиды стоят перед дилеммой: критиковать или порвать связь с социальными группами, организациями и институтами. Критика может быть эффективным дополнением разрыва. Но для этого она должна удовлетворять следующим условиям: быть направленной на изменение экономики и политики в целом (на микро-, мезо- и макроуровнях экономической и политической систем); выражать интересы разных социальных групп; приводить к конкретным результатам; быть элементом (функцией) политических систем; не исключать разрыв связей индивида с любыми социальными группами, институтами и системами.

Ни одна из существующих социальных систем не удовлетворяет данным условиям. Этим определяются пределы социальной критики. Кроме того, до сих пор популярен шаблон поведения и мышления: положение можно изменить, если этим займется начальство. Следовательно, критика обычно не отвергает всю систему иерархического устройства общества и государства. Крайне редко встречаются индивиды, которые способны быть последовательными в критике.

Большинство индивидов не в состоянии порвать связи с теми или иными общностями. Для большинства критика остается единственным способом действия. Этот способ типичен для семьи, церкви и государства. Критикой обычно занимаются те, кто не решился порвать связи с данными формами общности людей. Эти формы были и пока остаются всеобщими. Поэтому всегда существует опасность переплетения конкуренции с монополией — семейной, церковной, корпоративной, государственной. А любое переплетение экономического и политического поведения снижает потенциал критики.

Например, если уровень артикуляции интересов стабилен, то ухудшение дел в сфере экономики (неэластичность спроса и предложения) при отсутствии возможности разрыва способствуют росту критики «вхолостую»: люди на руководящих постах меняются, а социальные и организационные системы остаются прежними. Это правило не смогла отменить ни одна социальная и организационная система.

Общая модель связи критики и разрыва включает следующие варианты:

- при конкуренции в экономике критика дополняет разрыв, но приносит минимальную пользу из-за тенденции семьи, церкви и государства к монополии;
- чем более развивается критика экономики, тем более повышаются требования к качеству товаров и услуг;
- шансы улучшения экономики зависят от совместного действия критики и разрыва: но возможность и приоритет разрыва над критикой не способствуют улучшению дел в сфере экономики.

Иначе говоря, всегда существует опасность превращения критики в субститут разрыва. Решение о разрыве учитывает шансы успеха критики. Если эти шансы высоки, то индивиды могут отказаться от разрыва. Если человек все же решается на разрыв, то он отказывается от критики, а не наоборот. Поэтому решение о разрыве с социальными группами, организациями и институтами обычно принимается после более или менее длительного опыта бесплодной критики.

При рыночной экономике существует большое количество разнообразных товаров и услуг. Индивид может приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм. Такая ситуация способствует приоритету разрыва над критикой. Однако чем более развита конкуренция и чем более товары и услуги рассчитаны на индивидуальное потребление, тем более возможность разрыва вызывает непредвиденные последствия. Люди превращаются в потребителей, не интересующихся политикой. Если товары и услуги рассчитаны на массовое потребление, политическое содержание критики возрастает. Но интерес к политике может сопровождаться профессиональным и организационным бесплодием.

Таким образом, критика есть искусство, которое может развиваться при любых условиях. Суть критики — открытие новых способов действия во всех сферах социальной жизни. Эти способы направлены на уменьшение расходов и рост эффективности. Тогда как возможность разрыва отрицательно влияет на доведение искусства критики до совершенства и практических результатов.

Однако даже в экономической сфере крайне трудно найти оптимальное сочетание критики с разрывом.

Например, во всех странах мира существуют железнодорожный транспорт и система образования как отрасли массовых услуг и государственной экономики. Одновременно существуют личный автотранспорт и система частных школ и высших учебных заведений. При конкуренции первая система всегда проигрывает, поскольку ее администрация всегда надеется на помощь государства. Поэтому руководство государственных предприятий при любых типах экономики наименее чувствительно к критике. Оно блокирует критику. Не дает возможности соединить ее с разрывом таким образом, чтобы это сочетание было оптимальным для большинства граждан.

Если государство монополизировало отрасли хозяйства, возможности критики еще более уменьшаются. При любых попытках социальных изменений администрация обеспечивает воспроизводство сложившихся стандартов бесплодной критики.

Отсюда вытекают два важных следствия:

- ◆ деятельность государственного и любого другого управленческого аппарата всегда порождает непредвиденные последствия;
- ◆ данный аппарат должен быть главным объектом анализа при историческом и социологическом описании опыта социальной критики *в любой стране*.

Что же такое бесплодная критика? Она существует при любых социально-экономических системах. Ее стандарты направлены на ограничение активности людей, наиболее заинтересованных в повышении качества товаров и услуг в экономической сфере. В итоге даже при конкуренции самые активные, инициативные и последовательные в критике люди становятся первыми в очереди на разрыв. Обычно качество последовательно ухудшается в тех сферах, которые закрепляют за собой корпоративную и государственную монополию. Проблема состоит в определении класса экономических систем и отраслей производства, для которых монополия предпочтительнее конкуренции.

Однако эта проблема переплетена с экономическим поведением индивидов. Если цена товаров возрастает, первыми отказываются от них люди, которые были в них наименее заинтересованы. Если падает качество товаров и услуг, первыми от них отказываются наиболее требовательные клиенты. Вопрос состоит в установлении корреляции между числом потребителей первого и второго типа.

Определить такую корреляцию крайне сложно, поскольку роль качества в экономике изучена мало. А. Хиршман формулирует гипотезу об идентичности показателя эквивалентности для установления экономических мотивов критики:

- если бы падение качества товаров можно было выразить с помощью цены, эквивалентной для всех покупателей, то влияние падения качества и роста цен на решение о разрыве (отказе от покупки определенных товаров) было бы идентичным;
- при доказательстве этой гипотезы можно исходить из того, что обычно потребители по-разному оценивают качество. Но если оценка качества является главной,

то отказ от определенных товаров и услуг парализует критику, лишая ее главных исполнителей.

Например, если падает качество обучения в государственных школах, то первыми от них отказываются дети состоятельных родителей. Обычно такие родители высоко ценят образование и могли бы вступить в борьбу за улучшение качества образования в государственной отрасли. Вместо критики и борьбы они просто порывают с определенной системой образования. Если же ухудшается качество обучения в частных школах, родители оставляют там детей из-за понесенных расходов. Критика и борьба в этом случае наталкивается на экономические барьеры.

При существовании государственного и частного образования больше вероятность высокого качества в частном секторе. Правда, она зависит от возможности большинства населения порвать с государственной системой образования. Если такой возможности нет (из-за низкого качества жизни большинства населения), то как критика, так и разрыв становятся бесполезными. В этом случае недостатки государственной системы образования накладываются на слабости частной системы. Если же контингент учителей сотрудничает в обеих системах одновременно, происходит усиление недостатков и слабостей.

Короче говоря, существуют значительные трудности оптимального сочетания критики с разрывом в сфере экономики. Эти трудности определяются множеством факторов социальной жизни:

- роли производственной бюрократии и государственного аппарата в системе социальных отношений;
- не существует универсальных критериев сравнения профессиональных сфер с точки зрения доли в них талантливых людей;
- не существует универсальных критериев сравнения цены и качества товаров и услуг с качеством жизни отдельных социальных групп;
- существует конфликт между процессами вертикальной и горизонтальной динамики социальных групп;
- либеральный постулат конкуренции (как наиболее эффективной социальной связи) не может быть использован для оценки социальных преобразований.

Эти трудности еще более усиливаются в сфере политики демократических стран.

Эталон демократии или инерционная политическая система?

Для иллюстрации указанных трудностей А. Хиршман детально анализирует политическую традицию США — страны, которая традиционно считается эталоном демократии.

В этой стране право на разрыв социальных связей всегда обладало высоким статусом. Само существование США связано с множеством решений множества людей, которые предпочли уход из родных стран критике и попыткам улучшить в них положение. Эта традиция укрепилась и после конституирования США как независимой страны. Возможность разрыва в виде мифа о «диком и открытом Западе» стала моделью решения проблем индивидуальной жизни. Социальное кочевничество (разрыв связей и уход на новое место жительства) предпочиталось изменению обстоятельств, так что разрыв с прошлым заменил опыт европейских революций и стал предпосылкой политической демократии.

Политическая демократия в США начала вырастать из непосредственной демократии пионеров. В этой среде формировались первые социалистические требования и новые политические программы. Избирательный процесс расширялся за счет введения в него институтов непосредственной демократии (выдвижение сенаторов, референдум, гражданская инициатива, отзыв членов парламента, импичмент президента и т.д.). В данных институтах отразилось стремление сохранить образ жизни пионеров, который постепенно исчезал по мере заселения территорий и пограничных областей.

Но эта же традиция породила удивительный конформизм американцев, отмеченный уже А. Токвилем. Зачем вдаваться в споры, критику, наживать врагов и затруднять себе жизнь, если всегда можно «снять с места» и уйти, едва оно перестало удовлетворять индивида? Миллионы и десятки миллионов американцев предпочли такой образ жизни. В результате они становились равнодушными к любой среде обитания, общине и родине. После разрыва судьба брошенных мест и людей их уже не интересовала.

На этой почве возникла американская идея индивидуального успеха. Речь идет о социальной динамике особого типа. Она связана с вертикальными (по ступеням служебной и социальной карьеры) и горизонтальными (переселение в фешенебельные районы города) перемещениями. Индивидуальный успех стал основанием кристаллизации социальных групп. После этого начала культивироваться филантропия в отношении брошенных людей и топосов. Она еще более затруднила критику и усилила иждивенчество в американском обществе.

Негритянское движение отбросило традиционный образ индивидуальной динамики и сделало акцент на групповое продвижение. Уход выдающихся лиц из общины начал рас-

смагиваться как ее ослабление. Перед разрывом возникли всевозможные ограничения. Однако групповое продвижение в США стало лишь переносом традиционализма в индустриальное общество. Такое продвижение напоминает образцы поведения в современной Африке и других развивающихся странах: в них ни разрыв, ни критика не приносят никаких результатов.

Групповое продвижение связано также с метисизацией, при которой индивиды участвуют в изменениях только в качестве члена группы. На такой основе возникали американские группы интересов. Сегодня они обладают ключевым значением в различных сферах социальной жизни и блокируют любые радикальные изменения.

Указанные феномены породили веру в разрыв как главный способ решения индивидуальных проблем. В свою очередь эта вера способствовала слепому доверию к рынку, конкуренции и двухпартийной системе. «До тех пор, пока можно отказаться от покупки товара фирмы А и начать покупать товар конкурирующей фирмы В, — пишет А. Хиршман, — национальный романс с идеей разрыва продолжается» [9, s. 111]. Однако разрыв породил собственную противоположность.

Бросая родину, эмигрант принимает трудное решение. Он вынужден порвать самые глубокие эмоциональные связи. Необходимость приспособления к новой среде требует дополнительного расхода сил и энергии. Речь идет о выработке искусственных эмоций — связей с новой родиной, поскольку за это заплачена большая цена. Брошенная родина все более теряет привлекательность. Новая все более идеализируется и выступает в качестве «последней надежды человечества». Поэтому слово «счастье» в американском сленге утратило глубокий смысл и отождествляется с довольством жизнью. Нынешняя Америка — страна довольных жизнью глубоко несчастных людей.

США были и остаются «страной последних шансов». Разрыв с нею для большинства немислим. Такая ситуация определяет пределы социальной критики: если страну обвинять невозможно, то всякое недовольство требует от индивида принять еще одну пилюлю «приспособления». В этом случае критика мотивируется типично американским убеждением: все человеческие проблемы могут быть решены путем улучшения социальных институтов. В результате либеральный индивидуализм — предпочтение экономических интересов гражданским добродетелям — завершается самым яростным социоцентризмом. Социальная критика вытекает уже не столько из стремления изменить существующие обстоятельства, сколько из сравнения их с воображаемым идеалом. Таким идеалом выступает «американская идея», легитимирующая тотальный конформизм.

Этот конформизм выражен и в политической системе США. Она основана на конкуренции двух партий и блокирует любые радикальные изменения. Недовольство положением дел в обществе преобразуется в недовольство правящей партией и потому теряет критический потенциал.

В последние десятилетия американские политики и парламентарии перестали пользоваться правом добровольного ухода в отставку из-за принципиального несогласия по тем или иным вопросам. Иначе говоря, мотив идеализации собственной страны преобразовался в отказ от разрыва с ее администрацией. В американском парламенте и сенате появился тип «официального критика». Он согласен выполнять эту роль только в качестве «члена команды», а не для выражения собственных взглядов и политического характера. Однако предвидимость критики сводит ее к нулю. А переход к критике означает, что реальная власть и влияние индивида заканчиваются. В итоге оппортунизм стал главной американской добродетелью. Члены правительства руководствуются неписаным правилом аппаратчика: противодействие проводимой политике не должно выставляться напоказ.

Таким образом, «самая демократическая страна» стала наиболее консервативной и бюрократической. Как известно, нынешний мир состоит из больших, средних и малых стран. Принадлежность к правительству и аппарату управления большой страны в наибольшей степени связана с вероятностью коррупции.

Американские политики и менеджеры подвержены еще одной бюрократической иллюзии: положение в обществе можно исправить только в том случае, если индивид принадлежит к правительству или администрации. На самом деле «... даже крохотная власть и влияние в сильной и большой стране коррумпируют в наибольшей степени» [9, s. 115]. Уход в отставку по причине расхождения в принципах и методах исчез из американской политики потому, что уходящий оказывается без партийной поддержки и поддержки общественного мнения.

Указанные феномены отражают более мощную социально-экономическую тенденцию: конкуренция в странах с рыночной экономикой только укрепляет монополию. Действие механизма разрыва способствует появлению все большего числа требовательных, активных и инициативных членов общества. Но они вынуждены прибегать к критике только тогда, когда находятся в безвыходном положении.

А. Хиршман формулирует эту зависимость в виде социологического закона:

- ◆ при данной структуре социальной организации (комплекс социальных институтов и связей между ними) критика становится массовой только тогда, когда большинство индивидов находятся в безвыходном положении.

В этом случае выбор между разрывом и критикой становится просто предпочтением меньшего зла большему, хотя всегда трудно определить, что хуже — разрыв или критика. Конкуренция ведет к тому, что разрыв и критика начинают рассматриваться как неизбежное зло, а не как реализация свободы и творческих потенций личности.

Конкуренция выталкивает из социальных институтов наиболее последовательных и настойчивых клиентов. Если политическая власть отражает экономическую, то во властно-управленческих структурах господствует то же отношение к критике и разрыву, которое характерно для экономических структур: бездарные, неспособные, пассивные и ленивые индивиды эксплуатируют слабых и бедных индивидов. Такая экономическая система неэластична, но весьма устойчива. Она пронизывает подавляющее большинство организаций и институтов в сфере экономики. В этом случае бюрократизация экономической и политической власти становится опосредующим звеном между конкуренцией и монополией. Ленивые и пассивные монополии одобряют конкуренцию лишь потому, что она освобождает от усилий и критики.

Такие монополии типичны как для рыночной, так и управляемой экономики. Они обычно возникают в национализированных отраслях промышленности (военно-промышленный и энергетический комплексы, транспорт, связь, система образования, средства массовой информации). Ленивые пассивные монополии располагаются в таких социальных пространствах, где существует большое число подвижных клиентов, требовательных к качеству.

Ленивые и пассивные монополии существуют и в политических структурах. Например, правительства латиноамериканских стран вынуждают своих потенциальных критиков и соперников покинуть политическую сцену. Им предоставляется право эмиграции и выплачивается за рубежом пенсия выше, чем в родной стране.

В целом возможность разрыва деструктивно влияет на энергичную и творческую политическую жизнь. Разрыв ограничивает критику. Если же потенциальные и реальные критики находятся в безвыходной ситуации, то политические компромиссы отражают давление доминирующей стороны, а не являются следствием обоюдного консенсуса.

Наиболее показательным примером неожиданных последствий разрыва и критики является политическая система США. Она порождает политическую инерцию, в состав которой входят следующие феномены:

- ✧ неопределенность программ политических партий;
- ✧ движение партий к центру;
- ✧ радикализация политических требований вследствие бюрократизации партийного руководства.

Партии обычно положительно реагируют на критику, которая затрагивает практические вопросы. Но партии безразличны к критике политических программ. В результате программы становятся все более неопределенными, и потому конкуренция между партиями все более лишается смысла. Чем более партии заключают соглашений между собой (в виде блоков и движения совместных требований в отношении правительства), тем более они становятся чуждыми собственному электорату.

Движение партий к центру не способствует политической активности и последовательности граждан. Из партий выталкиваются наиболее последовательные и принципиальные индивиды. Партия центра — отражение ленивой и пассивной монополии на политической сцене.

Радикализация политических требований партий отражает избирательную конъюнктуру и бюрократизацию политического руководства. Руководство партий обычно не занимается управлением и не реагирует на падение популярности среди электората. Критика противников приобретает чисто инструментальное содержание. Она усиливается не от значимости социальных проблем, а зависит от периода между выборами. Чем больше этот период, тем больше «радикализация» политической конкуренции становится чисто вербальной. Стороны заинтересованы не столько в решении социальных проблем, сколько в победе над мнимым противником.

Таким образом, конкуренция в экономике и политике не может рассматриваться как норма экономических и политических процессов. Политическая традиция и система США не могут служить эталоном демократии. Демократия не в состоянии обеспечить оптимальное сочетание критики и разрыва, а только порождает неожиданные последствия. Нормативная модель демократии базируется на постулате о гражданине как активном участнике политического процесса. Однако в экономических и политических структурах стран таких граждан уже давно не существует. Эти структуры обеспечивают лишь политическую рутину и инерцию. Нормативная модель демократии давно уже стала элементом политической манипуляции. То же самое можно сказать о понятии «политического рынка», введенного для маскировки указанных процессов. Поэтому большинство членов современного общества руководствуется спасительным недоверием к любым пропагандируемым моделям.

Феномен «бессознательной лояльности»

Промежуточный вывод А. Хиршмана однозначен: для осуществления социальных изме-

нений требуется оптимальное сочетание критики и разрыва, но конкуренция в экономике и политике не в состоянии его обеспечить. Главной причиной инерции демократии является такое толкование лояльности (законопослушности), которое блокирует критику и разрыв одновременно.

Возможность порвать связи с конкретными формами общности выталкивает критику. Критика играет значительную роль в таких формах социальной организации, разрыв с которыми крайне затруднен. Речь идет о семье, клане, церкви и государстве. Однако в данных формах социальной, религиозной и политической общности критика существует лишь в таких пределах, которые исключают радикальные преобразования. Взамен добровольного разрыва данные группы используют принудительное изгнание. Причем в большинстве случаев руководство указанных форм общности применяет принудительное изгнание по отношению к критикам и противникам.

Отсюда вытекает, прежде всего, вывод методологического характера:

- при описании политических традиций указанных форм социальной организации число и частота принудительных изгнаний могут составить особый предмет исторической и политической компаративистики.

Не менее важны политические модификации. Если руководство данных групп применяет принцип изгнания, то критика становится функцией лояльности.

Лояльность — это возможность отказа индивидов от определенности разрыва взамен за неопределенность надежды улучшить положение дел в данной социальной общности. А принцип надежды не поддается рационализации. Если индивиды хотя бы в малейшей степени руководствуются надеждой, то критика возрастает по мере роста лояльности. Наиболее критичные индивиды являются наиболее лояльными и наоборот. Если индивиды не могут освободиться от иррациональной надежды и не менее иррациональной сопричастности к семье, клану, церкви и государству, то они пользуются критикой как средством улучшения и усовершенствования данной общности.

Лояльность включает мотивы надежды и сопричастности и стимулирует критику. Но такая критика не выходит за пределы традиционной формулы патриотизма: «хорошая или плохая, но это моя страна». Достаточно напомнить, что на воротах Бухенвальда висел аналогичный лозунг: «Право оно или неправо, но это мое Отечество». Так что чем более иррациональна лояльность, тем легче ее утилизировать.

Люди могут уходить в эмиграцию, но не в состоянии освободиться от чувственно-эмоциональных связей со страной происхождения и с указанным шаблоном патриотизма. В результате такой несвободы эмиграция не в состоянии породить принципиально новую систему политических идей, направленных на пересмотр данного шаблона.

В результате указанных феноменов различие между религиозной верой и политической лояльностью становится трудноуловимым. Отождествление того и другого приобретает статус «нормы» социальной и политической жизни.

Но так понятная лояльность и связанная с ней критика теряют смысл, если нормы начинают выводиться из сравнительного анализа государств и систем универсальных принципов — свободы, равенства, справедливости. Данные принципы никогда не могут быть полностью воплощены в жизнь ни в одной стране мира. Кроме того, на протяжении XX в. произошла дифференциация стран по критериям качества жизни, экономической эффективности, политической и духовной свободы, возможности самореализации индивидов. Если расположить страны на этой шкале, то на вершине окажутся государства, не требующие ни иррациональной лояльности, ни патриотической идеологии. Внизу шкалы располагаются страны, транслирующие описанный тип лояльности и патриотизма. Потребность в нем наиболее сильна в маргинальных странах и направлена на удержание их целостности. И все же без традиционной лояльности уже можно обойтись.

Сравнение стран по качеству жизни и другим критериям — лишь первый этап на пути освобождения от всех элементов иррациональной лояльности и разработки новой теории лояльности.

По мнению А. Хиршмана, данная теория отражает процесс постепенного выравнивания стран по всем критериям модернизации. Так что проблема преждевременного расставания (разрыва) с той или иной страной может появиться только тогда, когда эти критерии станут примерно одинаковыми. Конечно, «утечка мозгов» и миграционные потоки фиксируют пока противоположную тенденцию. Если экстраполировать эту тенденцию в будущее, то новую лояльность можно определить как ключевое понятие для понимания конфликта между разрывом и критикой.

Рациональный смысл лояльности определяется тем, что она может сколь угодно долго удерживать индивидов в рамках определенных групп, организаций и стран. Но критерием рациональной лояльности становится освобождение от традиционной формулы патриотизма. Речь идет о массовом использовании населением решительной и последовательной критики в отношении любых форм общности. Для этого должны быть разработаны механизмы,

свободные как от традиционной лояльности, так и тех форм разрыва и критики, которые характерны для экономики и политики демократических стран. Пример США может быть только отрицательным. Существующие в ней формы разрыва и критики не могут считаться «нормой». А по сути дела еще ни в одной стране мира не существует таких механизмов.

Рациональная лояльность содержит в себе возможность нелояльности. Лояльность в отношении любых социальных групп и институтов, претендующих на монополию в сфере экономики и политики, тоже не может считаться «нормой». Если социальная критика поддерживается возможностью разрыва, то ее шансы укрепляются. Но превращение данной возможности в действительность не должно быть легким. Особенно в тот момент, когда тенденция к монополии связана с ухудшением деятельности любых организационных структур, социальных институтов и государств.

Короче говоря, рациональная лояльность невозможна как при конкуренции, так и при монополии любой социальной группы, организации и института на экономическую, социальную, политическую и культурную деятельность.

Так понятая лояльность позволяет А. Хиршману зафиксировать моменты тождества тоталитарных и демократических политических систем:

- ◆ служебное и утилитарное отношение к критике и запрет разрыва на уровне государства;
- ◆ запрет критики на уровне отдельных производственных единиц в целых отраслях;
- ◆ культивирование бессознательной лояльности.

В тоталитарных системах правящие партии и государственные аппараты ограничивают критику общества и государства в целом. Критика может касаться только частных. Осуществляется также регламентация экономического и социального поведения индивидов. Они привязываются к производственным организациям и месту жительства, а всякая миграция монополизирована государством. Устанавливается запрет на добровольный разрыв с государством — он квалифицируется как «измена родине».

В демократических системах критика и разрыв формально доступны для каждого. Однако внутренняя демократия на уровне производственных единиц и политических партий тоже невозможна. В результате индивиды не в состоянии изнутри бороться за изменение ситуации на предприятиях, в корпорациях и партиях. По отношению к недовольным руководством применяется принцип: «Не нравится — можешь уходить». Но тот же принцип применяется и в тоталитарных системах, особенно в период их трансформации.

В обеих системах существует бессознательная лояльность. На уровне отдельных организаций и государств она не позволяет критиковать данные организации и социальные и политические системы в целом. А разрыв с одной организацией и переход в другую ничего не меняет ни в той, ни в другой. То же самое можно сказать об эмиграции. К тому же возможности разрыва могут запрещаться конституциями демократических стран.

Следовательно, мера бессознательной лояльности может быть установлена только со стороны. Хотя никаких абсолютных критериев здесь не существует.

Но можно утверждать совершенно определенно: чем больше возможностей разрыва (формальная и процедурная демократия), тем больше барьеров перед развитием внутренней демократии. Это правило относится к абсолютному большинству организационных структур и социальных институтов, существующих в мире. Формальная (процедурная) демократия на уровне государства одновременно означает блокаду демократии на уровне производственных единиц, групп интересов, корпораций, политических партий и государственных аппаратов. Следовательно, сознательная лояльность, предполагающая использование критики и разрыва большинством населения, невозможна и при демократии. Организационные и институциональные структуры по-прежнему имеют решающее значение для диспропорции критики и разрыва.

Например, во всех странах мира существуют государственные структуры для поддержки лояльности — органы внутренних дел и безопасности, аппараты измерения справедливости. Но они не в состоянии обеспечить эффективную связь критики и разрыва, ограничивая и то и другое. В длительной перспективе связь критики и разрыва полезна для всех производственных и социальных структур. Однако текущие интересы руководства толкают его к укреплению собственного положения за счет блокировки критики и разрыва. Поэтому государственные аппараты — прежде всего, главные государственные ведомства — обычно вырабатывают такие институциональные решения, которые противостоят интересам общества и государства в целом. Решить эту проблему до сих пор не удалось еще ни одному государству, даже самому демократическому. А по сути дела, ни одно из них и не бралось всерьез за ее решение.

В большинстве организационных структур используются два метода укрепления бессознательной лояльности: высокая цена за вход и выход из организации. Оба метода подавляют критику и запрещают разрыв. В итоге усиливается самообман общества во всех его организационных и институциональных структурах. Эти структуры только удлиняют время осознания экономических, социальных и политических проблем. Чем выше цена за вход в организацию, тем выше уровень индивидуального самообмана.

При этом вершины политических иерархий отличаются наибольшим самообманом. Как правило, они прибегают к критике в безвыходных ситуациях. А в таких ситуациях наибольшую активность проявляют как раз те, кто ранее отличался бессознательной лояльностью, был пассивен и доволен. Этим объясняется классическое правило «Революции пожирают своих собственных детей»: «Делая революцию, революционеры платят большую цену в виде риска, жертв и ориентации на одну-единственную цель. Когда революция совершена, появление разрыва между ожидаемым и реальным положением вещей более чем вероятно. Чтобы ликвидировать такой разрыв, те, кто заплатил наибольшую цену за установление нового порядка, ощущают наиболее сильную потребность опять его изменить. Для этого они вынуждены критиковать революционных товарищей, осуществляющих власть. В результате представители обоих лагерей погибают в развязанной борьбе» [9, s. 95]. Это ведет к росту политической рутинности в организационных и институциональных структурах стран, осуществивших революцию.

Кроме того, разрыв со страной обычно связан с санкциями в отношении «отступников» и «изменников». Это способствует тому, что сама мысль о возможности разрыва подавляется. Формула традиционного патриотизма в этом случае модифицируется в кредо: «Чем хуже страна, тем больше она моя». Если внутренняя критика страны запрещается, то выбор критики или разрыва преобразуется в альтернативу внутренней или внешней критики. В этом пространстве и возникает потенциальная и реальная эмиграция, которая не в состоянии обойти данную альтернативу и предложить что-либо новое.

По отношению к критике А. Хиршман предлагает разделить все организации на два типа:

- с нулевой ценой входа и большой ценой выхода, членами которых индивиды становятся в момент рождения. К таким организациям относятся семья, нация, вероисповедная общность;
- с большой ценой входа и выхода. К таким организациям принадлежат гангстерские группы, тоталитарные государства, политические партии и государственные аппараты.

В группах первого типа стимулируется критика как компенсация разрыва. Исторический опыт показывает, что такие группы являются наиболее устойчивыми.

В группах второго типа критика и разрыв подавляются или отодвигаются во времени. Руководство этих групп обычно вдохновляется либеральным мотивом «общего блага». На самом деле такое благо преобразуется в реальное общее зло, связанное с материальными и политическими интересами. Все ранее описанные модификации интересов способствуют укреплению такого зла. То же самое относится к мотиву престижа во внешней политике, от которого несвободны и демократические государства. Стремление к престижу обычно заканчивается позором на международной арене. Показательными примерами здесь являются поражения США во Вьетнаме, СССР в Афганистане, Югославии в Косово, России в Чечне и т.д. Военные и политические структуры государств в этом случае стремятся подавить разрыв силой. Следствия становятся еще более сокрушительными.

Иначе говоря, в группах второго типа грань между общим благом и общим злом делается неуловимой. А именно такие организации, группы и социальные институты были господствующими в мире на протяжении XX в. Поэтому понятие общего зла обладает значительно большим эвристическим потенциалом по сравнению с либеральной концепцией общего блага.

Кульминация бессознательной лояльности приходится на периоды распада данных групп, время которого пока определить невозможно. Хотя внешние признаки такого распада налицо (крушение мировой социалистической системы), указанные группы обнаруживают дьявольские способности трансформации. Неопределенность периода распада ведет к тому, что решение о разрыве с данными группами становится тем труднее, чем дольше индивиды его откладывают. В периоды распада таких групп среди наиболее «сознательных» членов становится популярным убеждение: надо «оставаться в рядах» для того, чтобы предотвратить группу от еще худшего исхода. Это убеждение транслирует оппортунизм и бессознательную лояльность в новые условия.

В конечном итоге А. Хиршман предлагает следующую типологию организационных структур, социальных групп и институтов:

- ❖ критика и разрыв допускаются в мелких предприятиях, добровольных обществах и партиях в многопартийных системах;
- ❖ критика и разрыв не допускаются в гангстерских и террористических группах, монопартиях, государственных аппаратах в тоталитарных системах;
- ❖ при конкуренции отдельные предприятия и корпорации допускают разрыв, но не допускают критики;
- ❖ семья, нация, церковь, государство допускают критику, но не допускают разрыва.

В этой типологии фиксируются только тенденции, которые нуждаются в историко-

социологической конкретизации. В то же время данная типология служит главным аргументом против всякого теоретического и практического нормативизма. Любой механизм улучшения под влиянием времени преобразуется в механизм разложения. Руководство любых организационных структур, социальных групп и институтов всегда заинтересовано в том, чтобы превратить критику в «выпускание пара» и институционализировать ее. В современном обществе эту функцию выполняют парламенты и средства массовой информации. А механизм разрыва лишь отдалает решение экономических, социальных и политических проблем.

Эти тенденции укрепляются бессознательной лояльностью членов любых организационных структур и большинства населения всех стран современного мира. Такая лояльность позволяет руководству всех уровней пользоваться любым методом по собственному произволу. А произвол лишь усиливает неопределенность и неожиданные следствия. При доминировании критики в тех или иных организационных структурах недооценивается разрыв и наоборот.

Таким образом, оптимальное сочетание критики и разрыва пока еще не найдено ни одной экономической, социальной и политической системой. Поэтому ни одна из них не может служить примером социальных изменений для других.

Резюме

Вернусь к вопросам, поставленным в начале. Я специально предпочел реферативно-классификационный способ изложения, для того чтобы дать на них определенные ответы:

- ◆ в современной социальной науке существуют концепции, позволяющие дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым сравниваются другие социальные системы;
- ◆ теорию капитализма М. Вебера нельзя считать продуктивной при оценке социально-экономических трансформаций;
- ◆ интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского капитализма, не являются наиболее надежной формой таких трансформаций.

Однако точка зрения о существовании «нормального» капитализма, с которым могут сравниваться другие социально-экономические системы, распространена не только в России, но и в других странах Восточной Европы и современного мира. Поэтому я попытаюсь суммировать те положения концепции А. Хиршмана, которые имеют методологическое содержание. Я полагаю также, что эти выводы могут служить отправной точкой для дальнейшей дискуссии о специфике современного капитализма.

Подход А. Хиршмана может рассматриваться как развитие идеи М. Вебера о том, что любые социальные события и процессы являются непредвиденными следствиями ранее принятых решений. В частности М. Вебер показал, что никто из создателей капитализма не стремился к его воплощению как некоего социального проекта. Вожди реформации разрабатывали протестантскую этику для достижения индивидуального спасения. В этой этике труд был мирским вариантом мирского аскетизма и преследовал трансцендентные цели. Если же люди ставят перед собой земные цели и реализуют их в традиционных формах общности, то возникает капитализм, в котором зло всегда господствует над добром.

А. Хиршман дает новую интерпретацию генезиса капитализма и его духа. Он показывает, что социальные болезни (кризисы, войны, революции) есть нормальное состояние общества и расплата за непоследовательность поведения индивидов и социальных институтов. Концепция «естественных прав человека» и вся парадигма социального познания Нового времени отражают данную непоследовательность. Но в настоящее время более важно не противопоставлять фигуры и концепции (Вебера — Марксу и т.п.), а изучать моменты общего между ними. Это нужно для установления последовательности взаимопереплетения социальных теорий, принадлежащих к различным идеологиям.

История социального знания Нового времени показывает, что все попытки создания новых теорий для усовершенствования управления обществом и государством заканчиваются крахом или ведут к неожиданным последствиям. Терминология социальных наук, возникших в Новое время, претендует на объективность и нейтральность. Однако в ней содержатся аксиологически нагруженные понятия, причем оценки предшествуют выделению предмета теоретического исследования. Познавательные концепции современной социальной мысли связаны с нормативными постулатами. По этой причине социальное знание до сих пор не освободилось от христианского принципа Надежды. В значительной степени это объясняется тем, что социальное знание не разорвало все связи с господствующими группами. Ориентация на анализ поведения подвластных отражает сервилизм социальных наук.

Наиболее ярким примером указанных тенденций является категория интереса. Она все еще является базисом всей системы социальных наук и политики. Однако эта категория при использовании в экономическом, политическом и теоретическом языке может означать любое случайное содержание. Ссылка на интересы всегда содержит консервативный момент. Если

даже экономические отношения и действия мотивированы религией и моралью, она не является нормой социального развития.

Квалификация материальных интересов как предвидимых, постоянных и безвредных ведет к неожиданным следствиям. Определение денег как наиболее сильной социальной связи есть наиболее опасная форма идеологии. Все теории социального развития и модернизации базируются на нормативных основаниях. Однако ни интересы, ни идеи, ни их констелляции не являются движущими силами социального развития. Доктрины гармонии интересов и равновесия сил есть разновидности идеологической аберрации.

Конкуренция тоже не может рассматриваться как норма социальных процессов. Она распадается на элементы критики и разрыва. Если экономические и политические мотивы поведения индивидов разорваны, то любая их связь снижает потенциал социальной критики. Это относится ко всем формам прямой и обратной детерминации и политического поведения. Снижение потенциала критики объясняется вытеснением наиболее активных и последовательных индивидов из любых форм социальной организации. Такое вытеснение соответствует интересам управленческих и государственных аппаратов.

Институционализация права на разрыв порождает социальный конформизм. Он выражается в стремлении к индивидуальному успеху, становлении групп интересов и групповом вертикальном и горизонтальном продвижении. При демократии социальное пространство критики ограничивается индивидами и группами, находящимися в безвыходном положении. Это тоже снижает потенциал критики и порождает ленивые монополии, бюрократизацию и инерцию политических систем. Тогда как связь критики с социальными общностями семьи, церкви, нации и государства порождает феномены «бессознательной лояльности» и патриотизма. Они делают неуловимым различие между демократией и тоталитаризмом.

Итак, социальные проблемы невозможно решить ни религиозными, ни моральными, ни экономическими, ни политическими средствами. Главной причиной такой невозможности являются социальные институты и группы, профессионально занятые в сфере экономики, религии, морали, политики и производства идеологий. Теория неожиданных последствий требует отбрасывания (радикальный вариант) или переосмысления (умеренный вариант) всей системы главных понятий и концепций, образующих парадигму социального мышления Нового времени. Представление о возникающих в связи с этим проблемах дает прилагаемый перевод одной из статей А. Хиршмана (см. приложение).

Как осуществить такое отбрасывание или переосмысление вообще и по отношению к истории и современному состоянию России в особенности? — на этот вопрос ни в зарубежной, ни в отечественной социальной науке ответа нет. Концепция А. Хиршмана позволяет его поставить. В заключение я хотел бы обратить внимание коллег и читателей лишь на один аспект данного вопроса.

Если упростить логику анализируемой концепции, то можно исходить из двух постулатов: в истории Европы главным злом была конкуренция в ее разновидностях гражданского общества и демократического государства; в истории России главным злом было и остается государство, поскольку оно всегда господствовало над материальными интересами и социальными институтами.

Для применения данных постулатов к объяснению современного капитализма в России требуется пересмотр практически всех схем социо-гуманитарных знаний. Я думаю, эта задача намного интереснее и продуктивнее, нежели применение к современной России схем из теоретического чулана Европы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александров Д. Место знания: институциональные перемены в российском производстве гуманитарных наук // НЛО. 2006. № 1/77.
2. Гжегорчик А. Жизнь как вызов: введение в рационалистическую философию. М., Вузовская книга, 2000, 2-е изд. 2006.
3. Гудков Л. О положении социальных наук в России // НЛО. 2006. № 1/77.
4. Капитализм как проблема теоретической социологии: «круглый стол» // Социологические исследования. 1998. №2.
5. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М., 1998.
6. Макаренко В.П. Групповые интересы и властно управленческий аппарат: к методологии исследования // Социологические исследования. 1996. № 11; 1997. №7.
7. Проблемы социальной трансформации: российско-польский сборник научных трудов отв. ред. В.П. Макаренко, Ростов-на-Дону. Изд. РГУ, 1997.
8. Элементы теории политики: Пер. с польского / Под ред. В.П.Макаренко. Ростов-на-Дону: изд. РГУ, 1991.
9. Hirschman A. Lojalnosc, krytyka, rozstanie. Krakow. 1995.
10. Hirschman A. Namietnosci i interesy: u intelektualnych zrodel kapitalizmu. Krakow, 1997.
11. <http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/22636.html>
12. <http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/273748.html>